



# ЛОГОС

#3(87) 2012

Кант под цензурой  
Переводчики  
под трибуналом  
Рынок и форум  
Коты

# ЛОГОС #3 (87) 2012

## ФИЛОСОФСКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

издается с 1991 г., выходит 6 раз в год

Учредитель Фонд «Институт экономической политики  
им. Е. Т. Гайдара»

Главный редактор *Валерий Анашвили*

Редакционная коллегия: *Александр Бикбов, Илья Инишев,  
Дмитрий Кралечкин, Виталий Куренной* (научный редактор),  
*Михаил Маяцкий, Яков Охонько* (ответственный секретарь),  
*Александр Павлов, Николай Плотников, Артем Смирнов,  
Руслан Хестанов, Игорь Чубаров*

Научный совет: *С. Н. Зимовец* (Москва), *С. Э. Зуев* (Москва),  
*Л. Г. Ионин* (Москва), *† В. В. Калинин* (Вятка), *М. Маккинси* (Детройт),  
*В. А. Мау* (Москва), *Х. Мёкель* (Берлин), *В. И. Молчанов* (Москва),  
*А. Л. Погорельский* (Москва), *Фр. Роди* (Бохум), *А. М. Руткевич* (Москва),  
*С. Г. Синельников-Мурылев* (Москва), *К. Хельд* (Вупперталь)

Номер подготовлен при участии Центра современной  
философии и социальных наук Философского факультета  
МГУ им. М. В. Ломоносова

Выпускающий редактор *Елена Попова*  
Дизайн и верстка *Сергей Зиновьев*  
Корректор *Юлия Николаева*  
Редактор сайта *Анна Григорьева*

Address abroad: "Logos" Editorial Staff. Dr. *Nikolaj Plotnikov*  
Institut für Philosophie Ruhr-Universität Bochum  
D-44780 Bochum. Germany. [nikolaj.plotnikov@rub.de](mailto:nikolaj.plotnikov@rub.de)

E-mail редакции: [logosjournal@gmx.com](mailto:logosjournal@gmx.com)  
Сайт: <http://www.logosjournal.ru>  
Facebook: <https://www.facebook.com/logosjournal>  
Twitter: [https://twitter.com/logos\\_journal](https://twitter.com/logos_journal)

Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-46739 от 23.09.2011  
Подписной индекс 44761  
в Объединенном каталоге «Пресса России»  
ISSN 0869-5377

В оформлении обложки использована  
работа *Вадима Жадько*

Публикуемые материалы прошли процедуру рецензирования  
и экспертного отбора

© Издательство института Гайдара, 2012  
<http://www.iep.ru/>

Отпечатано в типографии «Момент». Химки, ул. Библиотечная, 11.  
Тираж 1000 экз.

## СОДЕРЖАНИЕ

- 3 ГЕОРГИЙ ДЕРЛУГЬЯН. Что социолог может толком сказать о насилии? Контртезисы
- 9 ИННА КУШНАРЕВА. Кот и Cute

### ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

- 18 ХАННА АРЕНДТ. Традиция политической мысли
- 36 МАЙКЛ УОЛЦЕР. Философия и демократия
- 60 ЮН ЭЛЬСТЕР. Рынок и форум: три разновидности политической теории

### ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА

- 88 ИБОН УРИБАРРИ. Немецкая философия в Испании XIX столетия: восприятие, перевод и цензура на примере Иммануила Канта
- 105 СЕРГЕЙ ТЮЛЕНЕВ. Что перевод системе? Что ему она?
- 131 АНДРЕЙ АЗОВ. К истории теории перевода в Советском Союзе. Проблема реалистического перевода
- 153 ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА. Способы идеологической адаптации переводного текста: о переводе романа Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол»

### К ДИСКУССИИ

- 172 ВЯЧЕСЛАВ ДАНИЛОВ. У дверей гамбургского трибунала над переводчиком

### КРИТИКА

- 191 ДМИТРИЙ БОВЬКИН. Фундамент «нового государства»
- 199 ВАДИМ РОССМАН. Лебединые песни капитализма
- 207 АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ. Где работают аргументы *ad hominem*

216 Аннотации / Summaries

221 Авторы / Authors

# Что социолог может толком сказать о насилии?

КОНТРЕЗИСЫ

ГЕОРГИЙ ДЕРЛУГЬЯН

«Смешались в кучу...»  
(Из классики)



**О**РГАНИЗАТОРЫ одной из недавних конференций попросили участников высказаться на заявленную тему – о насилии во множестве его проявлений. Ниже следуют своего рода контртезисы, повторяющие предложенную повестку практически пункт за пунктом. Повестка весьма широка и, главное, очень показательна и типична для гуманитарных рассуждений наших дней. Повестка хороша тем, что в ней нет ничего провинциального. Она вполне могла бы обсуждаться в Париже или калифорнийском Беркли, либо в Петербурге и Нижнем Новгороде, хотя, сдастся, едва ли в Токио и Пекине, о чем тоже интересно задуматься.

Насилие как таковое не может служить объектом даже абстрактного теоретизирования. Дебаты о сверхкатегориях, тем более взятых из политико-публицистического оборота, обычно заводят нас в бесконечную полемику и морализаторство. Аргументация в этом всем нам знакомом случае развивается вне привязки к контексту. А ведь там, в социальном контексте, и находится эмпирика, поддающаяся конкретному анализу, сравнению, и возможному обобщению.

Насилие не предмет, а отношение между людьми в совершенно разные эпохи и в разных ситуациях. Едва ли мы узнаем что-то вразумительное, сравнивая положение раба на плантации с положением современного гражданина, избитого на улице хулиганами или жертвы хакерской атаки в Интернете.

Насилие (агрессия) есть одна из стратегий поведения, судя по доступным на сегодня знаниям, заложенная в генетике нашего вида — равно как заложена в ней любовь, дружба и другие

проявления альтруизма. Агрессия (как и альтруизм) есть способности добиться чего-то и почти чего угодно от других людей. Агрессия может выражаться в шлепанье ребенка ремнем, в повышении голоса на женщину («бабу») в семье или на подчиненного по службе, в базарной ссоре, а может и в сбрасывании напалма на города противника или во взрывах в метро. И все это — насилие. Кстати, многие виды спорта, вроде футбола и тем более бокса, есть ритуализованная форма насилия. Что мы надеемся получить, обобщая все это разом?

Тема очевидно модная среди интеллектуалов, обычно склонных лишь к самому символическому насилию, и просто среди современных образованных горожан, которые бывают скорее жертвами насилия. Насилие порождает в этих кругах чувства сильного отвращения и неприятия, вплоть до протеста.

Главное отличие, выявляемое среди основного электората республиканской и демократической партий США, как раз в отношении к насилию. Левые либералы американского типа не приемлют насилие, будь то война или массовая практика тюремного заключения нарушителей установленных социальных норм. Тем временем правый электорат мобилизуется вокруг элементарных призывов всыпать по первое число врагам американских ценностей за рубежом, внутренним воришкам и социальным иждивенцам, а также незаконным мигрантам. Правые ксенофобы обычно политически эффективнее на уровне агрессивных эмоций; однако их лево-либеральные оппоненты относятся к прогрессивной линии, восходившей с несколькими срывами со времен Просвещения. Эта линия достигла пика в 1968 году, но затем происходит не менее глубокий срыв. Какова будет дальнейшая динамика? Тема для изучения очевидно важная и далеко не только американская.

Здесь наглядно действует дюркгеймовский механизм генерирования социальной солидарности внутри своей группы, который проще всего достигается через конфликтное противопоставление хороших «наших» всем прочим «ненашим» и заведомо нехорошим группам. Поскольку был назван классик, давайте хотя бы пунктирно обозначим линию более плодотворных гипотез о насилии.

Дюркгейм в массе им написанного (и в массе заслуженно забытого) оставил нам, тем не менее, очень полезную общую теорию того, что вообще делает возможным человеческие сообщества. Дюркгейм убедительно связал человеческую склонность к насилию (конфликту) с не менее человеческой склонностью к совместному действию вплоть до альтруистически неравноценного обмена, т. е. самопожертвования как высшей социальной солидарности. В следующем поколении Норберт Элиас, по-

пытавшийся придать веберовскую историческую социологию фрейдистскому психологизму, встроил эволюцию форм насилия в исторический процесс «оцивилизования». Но и это была пока лишь полуметафора.

В наши дни Рэндалл Коллинз довел теорию Дюркгейма до применения в конкретной практике исследования через микросоциологию цепочек «ритуальных взаимодействий» Эрвина Гоффмана. В результате получилась спокойная, неочевидная и потому интересная социология микрооснов насилия в таких ситуациях, как драки в пивных, «безумные» массовые убийства в американских школах и кинотеатрах или отдавание предпочтений на американских выборах, о чем можно почитать в блоге Коллинза «Социологический глаз»<sup>1</sup>.

Остается еще война, налоги и чудовищные, столь типичные именно для XX века, злодеяния, как массовые репрессии и геноцид. Здесь прежде всего следует вспомнить о Чарльзе Тилли, теоретике исторической эволюции государства, который показал на материалах протяженности европейского Нового Времени, что насилие и принуждение так часто встречаются в репертуаре государственной практики, потому что большей частью они приносят результат. Налоги в результате собираются, призывники отправляются на войну, революционеры содержатся в тюрьмах.

Другой макротеоретик, Майкл Манн (недавно наконец завершивший четырехтомную эпопею «Истоки социальной власти»), выделил свои развернутые «примечания» о войне, геноциде и терроре в три отдельные книги со знаковыми названиями: «Фашисты» (2004); «Бессвязная империя США» (2003) и «Темная сторона демократизации: к объяснению этнических чисток» (2005)<sup>2</sup>.

Итак, площадка расчищена и позиции обозначены. Принципиальное замечание сводится к тому, что сравнивать надо не типы насилия, а типы ситуаций, в которых так или иначе применяется насилие. Далее можно кратко отвечать по пунктам предложенной повестки обсуждения.

*Культ насилия.* Науке неизвестен и не обнаруживается даже в самых жестоких воинских сообществах, вроде ацтеков или ранних казаков, ни в самых крайних культурах индуистской богини Кали. Даже в гитлеровском Рейхе культивировалось обожание фюрера, армии, войны ради выживания собственной расы, но не насилие как таковое.

1. См. URL: <http://sociological-eye.blogspot.com/>.

2. См. URL: <http://www.sscnet.ucla.edu/soc/faculty/mann/>.

*Насилие в сфере трудовых отношений.* Напротив, прекрасно известно и широко практикуется со времен всех первых цивилизаций и наверняка с возникновения рабства. Разгон забастовок полицией или бандитами — это безусловно насилие. Но забастовки и пикетирование — тоже форма насилия. Очевидно, здесь насилие есть либо форма контроля над рабсилой, либо способ разрешения трудовых конфликтов. Опять же исследовать надо конкретные трудовые отношения, а не возникающее из них насилие.

Законодательное ограничение насилия — основной признак государства по Максиму Веберу как монополии на легитимное (законное) принуждение (применение силы) на данной территории. Определение аналитически элегантно, ибо практикуется абсолютно всеми государствами: древними и современными, монархическими, демократическими, гибридными и тем более самыми тоталитарными. Если государственные органы не в силах контролировать насилие со стороны своих подданных, тем более сумевших вооружиться (в качестве мафии, сепаратистов или партизан), то такое государство, по определению, находится под угрозой слома.

Политическое насилие так широко практикуемо, потому что политика есть выбор противников и способов борьбы с ними (без обиняков, по определению рафинированного теоретика фашизма Карла Шмитта). Наиболее разрушительны насилие по поводу захвата власти внутри государств (революции и контрреволюции) и меж государств (война). Демократическая политика есть насилие в снятой и ритуализованной форме, как спорт есть война в снятой форме, т. е. возникают правила, по которым проигравшего не добивают, а дают шанс на реванш в следующем раунде, зато и проигравшие быстро признают поражение и не оказывают разрушительного сопротивления. Победа на выборах — это контролируемая революция без битвы окон во дворцах. Демократия аналогична договоренностям сверхдержав об ограничении ядерных вооружений: сдерживаем собственное насилие, понимая его самоубийственность.

*Насилие в детско-юношеских коллективах* не имеет ничего общего с политикой. Это один из распространенных (но не единственных) и почти биологических видов соперничества за статус в малой группе с неоформленной пока иерархией. Вчера малышей контролировали родители, а завтра они станут взрослыми и узнают, что кто-то из них банкир, мент или профессор, а кто-то водила маршрутки или люмпен. Юношеское насилие — культурная универсалия, встречается и в племени масаев, и в советской казарме, и в dormitorio элитного Оксфорда. Пик везде приходится на 16–19 лет, а к 29 годам сходит на ноль,

если только парень не успел превратиться в профессионала насилия (бандита, воина, боксера).

*Насилие в межэтнических отношениях.* Здесь смешаны минимум три существенно разные конфликта: бытовая ссора по поводу личного статуса (сравнимо с подростковым соперничеством); экономическая конкуренция на рынке или рынке труда; политика, особенно при наступлении демократии и выборов, когда остро встает вопрос, кто граждане, а кто пришлые.

*Насилие в киберпространстве* есть соединение двух популярнейших жанров: научной фантастики и боевика. Насилие, конечно, всегда развлечение, особенно для тех, кто в нем не может серьезно пострадать (сравните с историями про Ваньку Каина или Аль Капоне).

*Сексуальное насилие* остается в центре идеологических дебатов вокруг моральных, религиозных и гендерных вопросов: главное тут «сексуальное» или «насилие»? Спор крайне горячий из-за сильнейшей моральной подоплеки. Потому же и довольно бесплодный. Проблема реальная, поскольку принуждение к сексу, от психологического и экономического давления до грубейшего изнасилования, встречается во всей истории человечества. (Что стоит за фразами исторических источников «подвергли разграблению и поруганию» или реалиями рабства?) Требуется, прежде всего, на массиве сравнительных данных из разных обществ и эпох установить, остается ли принуждение к сексу на одном уровне (к счастью, это сомнительно) или есть факторы сдерживания, и каковы они: ответное насилие (кровная месть семьи или государственная тюрьма), воспитание или, как предполагают радикальные феминистки, доступность альтернатив к сексуальному удовлетворению и умиротворению?

*Насилие и наказания в семье* несомненно варьируется в зависимости от эпохи, социального класса и от культуры к культуре. Видимо, в Китае одно, а в Саудовской Аравии другое. Тут уже можно строить теорию, например, как сила главы семейства варьируется вместе с его способностью устанавливать наказания.

*Экстремизм* — это просто разновидность политики на крайнем фланге, где обычные методы не приносят результатов. Экстремизм в идеологии или в деле (как в терроризме) тоже едва ли эффективен, но, несомненно, эффектен. Тут и надо, как мне кажется, искать пути к построению вразумительной теории.

*Эмоционально-психологические формы насилия* применяются, когда физическое насилие нежелательно или чревато ответом. Тут скорее применим кнут, нежели меч. Но разброс примеров слишком велик, чтобы создать теорию. Успешная мафия живет долго, если живет по принципу дозированной оптимизации

насилия, а не максимизации<sup>3</sup>. Психологическое подавление есть важнейшее условие (не) применения насилия как между людьми, так и между государствами.

*Конструирование насилия.* Боюсь, я вряд ли что-то могу сказать об этом, как и о *насилии символическом*, поскольку не очень пока представляю себе, что бы это означало на деле. Конечно, все социальное было сконструировано и, точнее, выстроено когда-то, как-то, кем-то и в каких-то целях — что не означает, будто цели были верно определены или достигнуты. Конструктивизм есть лишь еще одна программа историко-эволюционной реконструкции, что будет основным способом добывания научного знания об обществе, откуда будет такая наука. Я лишь сомневаюсь в полезности отделения ментальных, культурных и прочих гуманитарных процессов от их материальных условий, носителей и ресурсов.

*Что отсутствует в тезисах к обсуждению.* Бенедикт Андерсон в своих семинарах учил всегда выявлять не-сказанное в обсуждаемом тексте. Лакуны могут оказаться красноречивее самого текста. Среди множества реальных и менее реальных форм насилия, тезисы мало что говорят о войне и, напротив, о *ненасилии*. Тезисы конференции о насилии, сформулированные в 2012 году в России, очень похожи на тезисы, которые могли появиться в любой западной стране. Однако Россия (как и США) войны ведет; Лев Толстой остается русским писателем; и возможность революции в России остается на порядок выше, чем в любом западном государстве. Но со времен перестроечного дискурсивного переворота рассуждения о революции сфокусировались на осуждении революционного насилия. Куда реже можно найти суждения, тем более аргументированные сравнительно-историческим анализом, о том, как возникает политическое насилие справа и слева, как революции соотносятся с войнами и «человеком с ружьем», равно как и контрреволюции и реставрации соотносятся с людьми в погонах. И вовсе редко обсуждается, каким образом могло бы стать возможным ненасильственное изменение политических структур, запутавшихся в своих собственных конфигурациях и грозящих в какой-то момент рухнуть. Это не обязательно о России; это и о многих странах Запада.

3. См. работы Диего Гамбетта и Вадима Волкова.

# Кот и Cute

ИННА КУШНАРЕВА



ИНТЕРНЕТ переполнен «котиками», как будто он — только средство для воспроизводства и трансляции этого мема. Котики, похоже, воспроизводят одного и того же «эгоистичного кота», размножающегося в лучах нашего умиленного внимания, но неизвестно, существует ли он в единственном числе. Откуда котики, зачем они в таком количестве? Слынут ли когда-нибудь?

С одной стороны, котики, безусловно, множатся не сами по себе, а как часть культурной тенденции, которая известна уже довольно давно. Они стали главным воплощением *cute* — понятия, которое очень условно можно перевести как «миленький» или «хорошенький», хотя по большому счету оно, конечно, непереводаемо. Традиционно поставщиком *cute* была Япония (в которой он назывался «кавай»). Оттуда шли все эти инфантильные моды, игрушки и персонажи манг с огромными глазами и крошечными ротиком и носиком, все пушистое, трогательное, умилительное, (псевдо) невинное и (псевдо) наивное. Сейчас позиции японской культуры в культуре массовой поколеблены. Точнее, с одной стороны, она превратилась в достаточно узкую, специализированную субкультуру (можно даже сказать, что японская культура — единственная, которая совпадает с собой как с субкультурой). С другой стороны, на музыкальном рынке ее подвинули конкуренты, например южные корейцы с ярким и высокотехнологичным К-попом. Своя доходная статья по части *cute* имеется и у китайцев — панды. Тогда тот открытый *Wired*<sup>1</sup>, культовым журналом гиков и венчурного хай-тек-капитала, факт, что многие из самых популярных видео с котиками происходят именно из Японии, можно объяснить

1. Lewis-Kraus G. In Search of the Living, Purring, Singing Heart of the Online Cat-Industrial Complex // *Wired*. Sept. 2012.

как компенсацию сократившегося производства *cute*: кажется, что теперь проще производить *cute* в натуральной форме, возможно даже, что уже произошел некоторый искусственный отбор, так что котики — следующий этап эволюции котов, вытесняющий своих манга-предков. Вероятно, весь генетический материал Мару<sup>2</sup> был нарисован за десятилетия увлечения аниме.

Однако есть еще одна причина, по которой котики нужны японцам. Поведение среднестатистического пользователя-японца в Сети разительно отличается от поведения большинства других пользователей. Отправившись в Японию знакомиться со знаменитыми котиками, прежде всего с котом Мару, залезающим в разные коробки, большие и малые, корреспондент *Wired* обнаружил, что пробить стену анонимности невозможно. Имя и место жительства хозяйки кота Мару скрывают. Кот законспирирован. Или, может, он работает под прикрытием — в конце концов, чем он еще занимается, если не «прикрывается»? Журналиста отфутболивали от японского агента хозяйки к американскому издателю (есть и такой), но он так ничего и не добился. Японцы сохраняют анонимность онлайн, стараются не выставляться и не высовываться, не показывать лица, чтобы его не потерять. К тем, кто слишком увлекается саморекламой, набегают толпы троллей. И что самое главное, в Японии к избытку личной информации и личной истории работодателя до сих пор относятся с подозрением — он может сильно испортить карьеру. Котики становятся прокси или аватарами для тех, кто не может открыто встать перед камерой и, как весь остальной мир, снискать свои пять минут славы. То есть котики прежде всего — это японский «анонимайзер», и вопрос в том, зачем он нужен всем остальным.

Японская тяга к анонимности отражается на стиле съемки. Мару снят длинными планами, с минимумом монтажа, без акцентов и спецэффектов, в минималистской обстановке, отстраненно и безэмоционально, с тем принципиальным невмешательством, которое так ценится в современной документалистике. Видео с Мару, в которых ощутим уверенный профессионализм и самоустранение автора, — противоположность *Lolcats*, разудалых, агрессивно-любительских и монтажных коллажей с надписями на искаженном «английском олбанском». В сюжетах с Мару присутствует намеренная повторяемость, граничащая с обсессивностью: кот залезает просто в коробки, потом в очень большие коробки, потом в коробки поменьше, совсем в маленькие, в которых ему не поместиться и не найти

2. См. URL: [http://en.wikipedia.org/wiki/Maru\\_\(cat\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Maru_(cat)).

убежища. Кот явно психотический — не ощущает границ своего тела и стремится изо всех сил вернуться в чрево матери. Видео с котом Мару — это кошачий артхаус.

\* \* \*

В целом *cute*, очевидно, играет на грани смешения частного и публичного<sup>3</sup>. Как в случае с японцами, которые не в силах преодолеть жесткие границы между частным и публичным в «отсталом» японском Интернете, *cute* создает некоторую фальш-частность. Крупные корпорации уже давно заводят себе «прикольные» талисманы или меняют корпоративный стиль, чтобы он был *cute*, чтобы больше не отпугивать потребителя своими масштабами и величиим, а, наоборот, установить с ним доверительные, аффективные отношения. Величественное и возвышенное вышло из моды, все стремится быть *cute* — маленьким, трогательным, беззащитным. Интересно, что в первую избирательную кампанию Обама воспринимался именно как *cute* — чего совершенно невозможно сказать о нем сейчас<sup>4</sup>.

Американский культурологический журнал *Cabinet* предложил следующую родословную для *cute*:

*Cute* может рассматриваться как разбавленный вариант смазливового (*pretty*), которое является разбавленным вариантом красивого (*beautiful*), являющегося разбавленным вариантом возвышенного (*sublime*), являющегося разбавленным вариантом ужасного и пугающего<sup>5</sup>.

«Разбавителем», очевидно, может выступать рефлексия, вводящая различия в то, что ранее выступало монолитом. *Cute* как «разбавленная» красота сродни «смазливому» (возможный русский перевод для *cute*), отличающемся от «красивого» назойливостью. В красоте есть объект и само качество красоты, которое на него проецируется, но в «смазливом» зазор между ними подчеркивается, даже выпячивается. В условно «классическом» прекрасном (скажем, кантовском) сама «работа» красоты в известном смысле мистифицируется: мы застигнуты красивыми объектами, но не понимаем, что они просто присвоены нашими познавательными способностями, уже окрашены нашими проектами. Граница между объектом и его красотой стерта. Тогда

3. Наиболее интересное на сегодняшний день исследование категории *cute* (а также некоторых других маргинальных эстетических категорий) см. в работе Сианн Нгаи: *Ngai S. Our Aesthetic Categories: Zany, Cute, Interesting*. Harvard: Harvard University Press, 2012.

4. *Wondolff*. Addicted to Cute // *Vanity Fair*. Dec. 2009.

5. *Richard F. Fifteen Theses on the Cute* // *Cabinet*. Fall 2001. Issue 4: Animals.

как в *cute* и его одушевленном варианте — «смазливости» — подчеркивается то, что эти объекты «уже сделаны», чтобы произвести эффект красоты. Это некие полуфабрикаты прекрасного, которые ничего не скрывают. На каждый смазливый объект словно бы наклеена его собственная красивая маска — именно такое намеренное стирание отличия подчеркивает его. Мы опасаемся объектов, которые слишком явно подыгрывают нашему синтетическому аппарату, потому-то от *cute* так легко устать — котики притягивают взгляд, но при злоупотреблении начинают вызывать некоторое отвращение.

Чтобы получить эстетический объект с каким-то качеством, нужно, по законам современной эстетики, взять объект без этого качества и сыграть на различии. Так, цветы уже не могут выступать в качестве эстетически прекрасных объектов, потому что они просто красивые. Если сравнивать кошек и собак, то эксплуатация последних в качестве *cute*-объектов окажется географически ограниченной. Известно, например, что в иерархии материалов о животных британского таблоида *Daily Mail* на первом месте стоят именно собаки, на втором — обезьянки и только на третьем — кошки. Но это, по-видимому, чисто британская специфика. Собаки, в отличие от кошек, которые в реальности совсем даже не *cute*, а становятся таковыми в системе репрезентации, на самом деле хотят понравиться. Этологи обычно говорят, что собаки — *anxious to please* — почти так же, как все смазливое. А кошки не хотят понравиться, поэтому это качество можно им приписать и сыграть на этом диссонансе. Натуральная кошка возмутительна, как правило, тем, что она способна совсем ничего не демонстрировать. Для человека такое поведение всегда означает как «устранение» и «пренебрежение» (некая гордыня, позволяющая себе «не замечать»), но, конечно, это означивание не имеет отношения к кошке, и это еще более неприятно. Превращение кошек в котиков играет именно на этом различии между онтологическим пренебрежением, равнодушием и маской смазливости: мы можем обратить на себя внимание тех, кто совершенно не желает с нами коммуницировать, заставить их играть в наши репрезентативные игры. Но, кстати, кошки не всегда были *cute* и в репрезентации. В «Томе и Джерри» этим качеством наделен мышонок, а не нескладный гуттаперчевый кот. Мышонок Джерри — воплощение заложенной в *cute* манипулятивности и умения играть на чужих слабостях.

\* \* \*

*Cute* — попытка замаскировать и заклясть насилие хотя бы в его минимальной коммуникативной форме — как равнодушный отказ от коммуникации, который *вообще ничего не значит* (по-

тому что в случае с животными такого отказа, разумеется, нет и не было). Если вернуться к Японии, производство *cute*, начавшееся там в послевоенный период, было стратегией в отношениях с Америкой — стремлением позиционировать себя как слабого и безобидного младшего брата, а не врага или конкурента<sup>6</sup>. Тот, кто был выведен из сферы международной коммуникации (и едва ли не уничтожен физически), получил возможность нравиться, но без особого ущерба для собственного чувства самоуважения, то есть опять же через прокси, анонимайзер. Но насилие все равно присутствует в этом понятии как фон. В отношении к объекту, который *cute*, одновременно наблюдаются и нежность, и агрессия, порой ведущие к инвалидизации. Кажется, что мы неявно стремимся наказать *cute*-объект за то, что в нем запечатана сама разница между предельным равнодушием и назойливым стремлением захватить наш взгляд. Например, существовал популярный блог *You can't make it up* с фотографиями разнообразных животных в гипсе — преимущественно, конечно, котиков. Немалый процент видео с котиками представляет их злключения: например, нарезка лучших прыжков и падений, влекущих за собой разрушения разной степени тяжести — от обрушившихся полок или посуды до накрывшего котика сверху ведра или мусорной корзины. Что если котики должны инвалидизироваться именно для того, чтобы вырваться из своей изоляции, прийти к доктору Айболиту, с которым у них есть общий язык?

Важным источником *cute* всегда были дети. *Cute*, по сути дела, и есть инфантилизация вполне серьезных вещей, таких, например, как корпорации. У этой эстетической категории даже есть заезженное объяснение в духе поп-эволюционизма. Любовь ко всему маленькому, хорошенькому и беззащитному — проявление родительского инстинкта: должно возникать неодолимое желание согреть и защитить. Важная составляющая любой *cute*-коллекции в агрегаторах контента, специализирующихся на «фишках» и «приколах», — фотографии детенышей. Котики, даже взрослые, как будто никогда так по-настоящему и не вырастают. Так, маленькое и слабенькое получает неожиданное эволюционное преимущество — как панды, на сохранение которых уходят огромные деньги, хотя мало кто (пусть среди презервационистов такие и есть) задается вопросом, нужно ли тратить именно на их охрану в ущерб другим, не настолько «спектаклярным» биологическим видам. Но если ты не *cute*, то у тебя

6. *Kelts R. Japanamerica: How Japanese Pop Culture Has Invaded the U.S.* NY: Palgrave Macmillan, 2007.

нет шансов — возможно, вместе с человеком выживут только те виды, которые уже *cute*.

Однако все, что связано с ребенком, сегодня все чаще оказывается под подозрением. Борьба с педофилией и распространением детской порнографии может со временем наложить запрет на целый ряд образов и репрезентаций, которые раньше казались в культуре совершенно нормальными. Сайт с животными в гипсе есть, но возможен ли такой же сайт с детьми? Да и вообще кто сегодня станет по почте обмениваться ссылками на фотографии детей, если только это не собственные дети? Кем заменить ребенка? Тем более, если принять прямолинейный эволюционизм, как наложить запрет на изображение всего «маленького»? Как определять размер репрезентации?

Домашние животные, особенно собаки и кошки, всегда психологически были заместителями детей. Теперь им приходится замещать их и в репрезентации. В фильме Миранды Джулай «Будущее» относительно молодая, 30-летняя пара собирается взять кота из приюта. Кота отдают не сразу, а через месяц. Пара решает прожить этот месяц, как будто он последний в их жизни, ибо дальше их ждет груз тяжелой ответственности. Они уходят с работы, запираются дома, спешно бросаются искать себя и смысл жизни, в конце концов почти расходятся и воссоединяются в последнюю минуту возле дверей приюта. Но опаздывают — несчастный котик (с забинтованной лапкой, кстати), чей трогательный «голос» за кадром все это рассказывает, умер, их не дождавшись. Понятно, что речь на самом деле о так и не обретенном ребенке. Ход вроде бы простой и тривиальный, но представленный в фильме так, что вызывает у зрителя ощущение беспокойства и неудобства. Как будто он указывает на то, что теперь ребенок — это тот, кого нельзя называть.

Есть такой плагин, который, если самовлюбленные родители достали вас фотографиями своих младенцев в ленте фейсбука, позволяет едва не автоматически заменять их на что-то другое — ну, например, на котиков. Игрушка, задуманная как сервис для мизантропов, может оказаться вполне эффективным идеологическим инструментом: чтобы бес не попутал, детей лучше не видеть, сделать их слепым пятном. Безопаснее умиляться котикам, тем более с учетом того, как ловко японцы приспособили их для сохранения собственной анонимности. Котики выступают как демонстрация лояльности и благонамеренности, не обязательно политической. *Cute*, как положено, выполняет здесь свою функцию прикрытия и камуфляжа.

Котики, если не вытесняют порно, то, по всей видимости, могут потягаться с ним в привлечении трафика, что само по себе достойно внимания: оказывается, что такой — вроде бы слабый

и маргинальный — аффект, как умиление *cute*, побеждает или почти побеждает мощный драйв. Но для *cute* есть реальная опасность: его детскость, соблазнительная и соблазняющая, рассчитанная не на детей, а на взрослых, может сослужить ему дурную службу. Не случится ли так, что и котики окажутся под подозрением, поскольку известно, кого они на самом деле замещают?

\* \* \*

Не так давно в Интернете нашумела серия фотографий, на которых с котиком позировали сирийские повстанцы. На агрегаторе интернет-приколов *Buzzfeed* фото сопровождалась подписью в стиле: «Ну разве не прелесть? Даже в тяжелое военное время люди находят способ проявить любовь к животным». Первый вопрос, который приходит в голову, когда видишь фото с котиками — эти или, например, блог на *Tumblr* с подборкой фотографий знаменитостей с кошками (Сартр с котом): настоящее оно или это фотешоп? Вот он — новый фронт теории фотографии: не документальное против постановочного, а настоящие (котики) против котиков в фотешопе. Действительно ли можно подобрать сколько-то фотографий знаменитостей, в том числе вполне солидных и заслуженных, на которых они снялись с котами? В этом случае котики еще могли бы быть бартовским пунктумом — истиной, которая может лишь случайно мелькнуть, попасть в объектив, но тут же улетучиться, если намеренно направлять усилия на то, чтобы ее уловить — «постить котиков». Бродил ли худой рыжий котенок среди бородатых людей с автоматами (подтверждая простодушный тезис о том, что найдется время для любви к животным), захотели ли они сами с ним попозировать или же это циничная манипуляция, когда серьезная тема вставляется в рамку *cute*, так что ко всему добавляется иронический метауровень? Вскоре, по-видимому, придется рассуждать о границах репрезентации котиков: едва ли долго придется ждать на каком-нибудь агрегаторе подборку «Котики в Аушвице». Вопрос: что делать, когда такая появится, — подводить статью об экстремизме или нет?

\* \* \*

Эволюционное объяснение котиков пропускает важный момент: если котики скрывают детей, то, возможно, именно потому, что дети скрывают котиков, то есть тот факт, что в какой-то момент в них слишком много опасного и нечеловеческого, «иного» (более прямолинейный разворот этой темы — традиционный хоррор с участием младенцев и маленьких детей). Если *cute* — это в конечном счете попытка установить минимальные коммуникативные условия (пусть даже предельно фальшивые) в ситуа-

ции, когда они невозможны (например, когда говорить, собственно, не с чем), тогда логика детей как «истинного» референта *cute* может быть развернута в совсем другом направлении, свободном от эволюционного прагматизма самособирающихся человеческих автоматов.

У колыбели или коляски можно услышать взрослых, которые говорят: «Родился мальчик, похож на отца». Говорят чаще сами родители, хотя фраза явно бессмысленна, и ждут повторений от окружающих и даже восторгов («удивительно похож!», «просто поразительно!»). Ребенок в таких случаях выступает как экранизация родителей, сделанная так, что высказывания о нем идеологичны вдвойне. С одной стороны, на кого он еще может быть похож, если не на родителей, если это действительно их ребенок? С другой стороны, только родители видят в нем то, чего нет, считая его удачным фильмом, снятым по сценарию собственных генов, однако ясно, что значительная часть не вошла в кадр либо исказилась онтогенетическим рендерингом, и им просто надо додумывать то, чего нет. Собственно, отношение фенотипа и генотипа можно представить как отношение экранизации, а родители выступают в качестве тех, кто пытается обмануть всех остальных (слепцов по определению) своим всевидящим якобы зрением, то есть недостаточно родить ребенка, надо, чтобы он был с самого начала защищен визуальным экраном (возможно, ребенок, ни на кого не похожий, слишком легко виртуально десоциализируется).

Родители занимаются своеобразными гештальтистскими экспериментами, понимая, однако, что гештальт, поставляемый ими, удерживается только в их присутствии их же собственными силами, то есть, так сказать, «на ручном управлении» (простой наследственности, таким образом, недостаточно — дети могут походить на тех, кто удерживает их гештальт чисто ситуативно) — в отличие от стандартного гештальта, сажающегося как влитой на определенное визуальное пятно, так что снять его с этого «исходного» пятна уже нельзя. Родители — это просто те, кто играет в двойную игру: с одной стороны, надо делать вид, что это пятно уже сложилось, причем невидимым для всех остальных образом, а с другой — ждать, когда гештальт действительно сядет на пятно, приклеится к нему. Большинство «развивающих» практик, образовательных и т. п., являются в этом смысле не более чем продолжением того же гештальтистского упражнения в отсутствие собственно гештальт-эффекта. Гештальт-мичуринство, прикрывающееся натуральным порядком генов и наследственности. Собственно, помимо дурного критического жеста (родители видят в ребенке то, что позволяют им увидеть их родственные отношения, то есть практикуют некий

визуально-критический непотизм и клиентелизм или даже своеобразную видеокоррупцию), в этом есть и доля некоего магического импринтинга: стадия зеркала наоборот, на которой родители пытаются увидеть в ребенке себя, пока в нем себя не увидел — не дай бог — кто-то другой.

В эстетическом плане такая процедура представляется не как подражание, а именно как фальшивое, безапелляционное признание подражания, которое по отношению к стандартному мимесису выглядит неким рефлексивным и магическим удвоением (мы готовы увидеть подобие только для того, чтобы оно сложилось позднее). Но в то же время это элементарная эстетическая процедура, в которой набросок подражания того, что еще ничему не подражает, отвечает именно нашим коммуникативным или синтетическим требованиям. Это действительно крайне разбавленная и рефлексивная эстетика, но она же, возможно, в генетическом плане наиболее примитивна. Подобный импринтинг — не более чем первопроизводство *cute*, поспешное и топорное отвержение того, что на какой-то стадии дети (и их субституты) не только находятся вне коммуникации, но и легко заменимы, серийны (отсюда невротический страх подмены). Чтобы они превратились в настоящих детей, из них еще надо сделать котиков, ввести их, хотя бы условно и без их ведома, в пространство, где случайный изгиб на обоях должен казаться улыбкой, но для этого сначала надо увидеть на их лице улыбку или хотя бы как-то ориентированный и обращающийся взгляд. Известный психологический факт, состоящий в том, что мы в любой каракуле (вроде впадин на поверхности Марса) готовы видеть человеческое лицо (или, скорее, рожицу), объясняется поэтому тем, что мы видим не лицо, а именно *сам cute*, самого главного котика, без которого и от которого никуда не деться.

# Традиция политической мысли<sup>1</sup>

ХАННА АРЕНДТ



ОГДА мы говорим о конце традиции, мы явно не отрицаем того факта, что многие люди — возможно, даже большинство (хотя лично я в этом сомневаюсь) — все еще живут стандартами традиций. Но важно, что, начиная с XIX века, традиция при столкновении со специфическими современными вопросами хранит молчание, а политическая жизнь, везде, где она приняла современные формы и прошла через реформы индустриализации и утверждения всеобщего равенства, все время меняет собственные стандарты. Эта ситуация была прочувствована великими историческими пессимистами, найдя свое величайшее, хотя и не слишком драматичное выражение в работах Якоба Буркхардта. Самое интересное, что первые предзнаменования грядущей катастрофы — не в физическом или строго политическом смысле, но в смысле разрыва в традиционной преемственности — мы обнаруживаем в середине XVIII века у Монтескье, а чуть позднее у Гёте. Ни Монтескье, ни Гёте никто никогда не считал глашатаями рока, но при этом они достаточно недвусмысленно высказывались по данному вопросу.

В работе «О духе законов» Монтескье пишет: «Большая часть народов Европы еще управляется обычаями. Но если вследствие долгого злоупотребления властью или крупной победы деспотизм утвердится там в каком-нибудь пункте, то никакие нравы и климаты не устоят перед ним». Монтескье видел опасность в том, что, что в обществе XVIII века традиции остались единственными стабилизирующими факторами, а законы, которые, согласно ему, «управляют действиями граждан», стабилизируя тем самым пространство политики подобно тому, как традиции стабилизи-

1. Перевод выполнен по изданию: © *Arendt H. The Tradition of Political Thought*// *Arendt H. The Promise of Politics*. NY: Schocken, 2005. P. 40–62.

руют общество, утратили свою весомость. Чуть менее тридцати лет спустя Гёте в письме делился с Лаватером схожими наблюдениями: «Подобно большому городу наш нравственный и политический мир подрывается подземными дорогами, подвалами и канализациями, об устройстве и состоянии которых никто не беспокоится; однако те, кто знает что-то об этом, отнюдь не удивятся, если однажды здесь или там земля разверзнется, повалит дым, а из дыры послышатся голоса». Обе цитаты относятся ко временам, предшествующим Французской революции, понадобится еще более ста пятидесяти лет, покуда традиции европейского общества окончательно не обвалятся и подземный мир не выступит на поверхность. Тогда его странные голоса наконец-то будут услышаны в политическом концерте цивилизованного мира. На мой взгляд, лишь с этого момента можно утверждать, что современная эпоха, начавшаяся в XVII столетии, действительно породила современный мир, в котором мы обитаем по сей день.

В природе традиции быть принятой и усвоенной на уровне здравого смысла, приспособляющего особые и идиосинкразические данные, получаемые нашими органами чувств, к миру, который мы все вместе населяем и делим друг с другом. В таком понимании здравый смысл обозначает следующее: в условиях плюрализма люди проверяют имеющиеся у них особые чувственные данные, соотнося их с общими данными, имеющимися у других (так, зрение слух и другие чувственные восприятия относятся к свойствам человека в его сингулярности, они гарантируют, что он может получать информацию сам по себе: для восприятия как такового ему не нужны другие). Когда говорится, что плюральность или общность человеческого мира представляют собой особые зоны компетентности здравого смысла, то имеется в виду, что последний функционирует главным образом в общественной сфере морали и политики и что именно они пострадают, если здравый смысл и его само собой разумеющиеся суждения перестанут функционировать и обесмыслятся.

Исторически здравый смысл — это такое же творение Рима, как и традиция. Не то чтобы греки или иудеи были лишены здравого смысла, но лишь римляне развили его до такой степени, что он стал высшим критерием в управлении общественно-политическими делами. Вместе с римлянами память о прошлом стала делом традиции, и именно в контексте традиции здравый смысл получил наиболее важное политическое развитие. С тех самых пор здравый смысл оказался увязан с традицией, он оберегался ею. Поэтому всякий раз, когда традиционные стандарты утрачивали смысл и переставали служить общими правилами, под которые могли быть подведены все или большинство конкретных случаев, здравый смысл с неизбеж-